

## МАЭСТРО

Курс лекций по теории кинодраматургии вел в нашем творческом вузе знаменитый режиссер, создатель лучших отечественных фильмов о вожде пролетариата и революции. Профессор института кинематографии каждый год в течение семестра читал лекции в нашем литературном вузе, просвещая будущих писателей в области самого передового, по его убеждению, вида искусства.

Как знаменитый специалист, приглашенный из знаменитого вуза, причем, пусть и из родственной, но все-таки другой области искусства, он вел себя в литературном институте подчеркнуто независимо, если не сказать нагло. Возможно, это было своеобразной самозащитой кинодеятели в стане писателей. Но одна моя знакомая, сославшись на свои личные наблюдения, уверяла меня, что это «их» профессиональная черта, на которую просто не нужно обращать внимания.

Поскольку никакого особого пособия для лекций по киноискусству в литературном вузе не было, профессор полностью полагался на свой преподавательский опыт и строил занятия в виде захватывающих рассказов о лучших лентах мирового кинематографа.

Особенно маэстро удавались драки. Пересказывая затяжные, причем нередко групповые побоища из гангстерской сокровищницы Голливуда, он сдирал с себя пиджак, швырял его в сторону, и, шлепнув по груди подтяжками, буквально бросался в драку, то изображая бьющего, то перевоплощаясь в того, кого бьют. Причем все это исполнялось со всеми звуковыми и шумовыми эффектами, которые он прекрасно имитировал своими натренированными голосовыми связками. Это были и крики отчаянья, и вопли садистского безумства, и стоны истязаемого. Исполнялось все это так динамично и ярко, что создавалось полное или почти полное ощущение подлинности.

Затем, года два спустя, на советские экраны был выпущен один из американских фильмов, пересказанных нам профессором. Я не знал даже названия этого фильма и, ничего не подозревая и не предвкушая, сидел себе в почти пустом зале аквинского кинотеатра, ожидая начала сеанса.

Едва в зале выключили свет, как по экрану на негромком музыкальном фоне поползли первые титры на английском языке с именами и фамилиями создателей фильма. Сам фильм еще не начался, но я сразу понял, что это именно тот американский фильм о демобилизованном парне, который пересказывал нам маэстро. Хулиганы избивают этого парня на глазах у пассажиров ночного метро и смертельно ранят его ножом.

Демобилизованный солдат, собрав последние силы, убивает одного из хулиганов ударами своей переломанной и замурованной в гипс руки.

То, что я уже знал об этой истории, было не менее ярким, и в этом смысле я ничего нового не получал от просмотра. Но я весь изволновался, пока шел фильм. У меня начались приступы азарта от ежеминутных узнаваний того, что запечатлелось во мне от рассказов маэстро, и того, что происходило на экране. Эти совпадения действовали как детонатор, и я то и дело взрывался.

Почти при каждом ярком эпизоде я вскакивал, выражая восторг, что актер сыграл точно так, как показывал нам профессор. Единственное, чего здесь не было, да и не могло быть, это шлепков профессорских подтяжек, перед тем, как он кидался в очередной раунд. Каждый шлепок, очевидно, должен был напоминать щелчок деревянной хлопушки перед съемкой очередного дубля.

Слушать рассказы маэстро было одно удовольствие. На лекциях по киноискусству аудитория наша переполнялась. Такая посещаемость была почти неправдоподобной. Будущие писатели свое стремление к личной свободе наиболее ярко выражали в виде свободного посещения лекций в любимом колледже.

Записывать лекции кинорежиссера было немыслимо. Для этого нужно было просто вооружиться киносъёмочным аппаратом. И вообще, конспектирование лекций вовсе не предписывалось демократическими традициями нашего творческого вуза.

Незадолго до зачета по своему предмету, маэстро раздал нам книжечки различных киносценариев, чтоб мы ознакомились с ними и написали дома нечто подобное, но на свободную тему. Студентам такое задание понравилось. Весь курс был увлечен работой. Кое-кто из практичных студентов даже узнавали, а сколько же платят у нас в стране за одобренный и принятый киностудией сценарий, наивно надеясь разбогатеть за счет будущей творческой удачи.

Словом, никаких оснований для того, чтоб волноваться, да еще по зачету, да еще по непрофильному, нелитературному предмету – вроде не было. Лекции выслушаны, написаны учебные киносценарии.

И вдруг в коридоре литературного института появляется гроссмейстер киноискусства в неожиданно взвинченном состоянии, чреватом для молодой писательской поросли неведомыми, но наверняка бедственными последствиями. Мы втекли в аудиторию тревожно-послушным стадом, уже подозревая, что окружающие нас стены - это не миролюбивая окружность родного загона, а роковая замкнутость двора мясокомбината.

Таким раздраженным мы никогда маэстро не видели. Как нам показалось, профессора задел кто-то из наших институтских писательских знаменитостей, и он решил уничтожить

писательский род, что называется, на самом корню, и получить наслаждение в процессе этого своеобразного антиписательского апартеида.

Нас все-таки не покидала слабая надежда, что к маэстро вернется благоразумие, и он, отстранив нелепую раздраженность, предложит нам выложить на стол зачетные книжки и станет, как говорится, «автоматом», ставить нам зачеты и великодушно желать успехов.

Но чуда не произошло. Ожидаемые «автоматы» превратились в бельгийские автоматы зарубежных детективов, и профессор киноискусства на истерически высокой ноте крикнул аудитории: - «Кто смелый – выходи!»

Один за другим подходили к столу профессора несколько наиболее уверенных в себе наших студентов, интеллект которых не вызывал у нас никаких сомнений. У каждого он требовал конспекты, которых не было ни у них, ни у других студентов, в ужасе наблюдавших за своими лидерами.

После того, как студент-лидер отвечал, что у него нет конспектов, профессор задавал ему тут же вопросы по теории и истории киноискусства. Вопросы эти были такой сложности, что наши лидеры либо ничего не могли ответить, либо отвечали так слабо и неуверенно, что представляли перед нами беспомощными и униженными. Он поставил-таки им зачеты, но в усмешке, с которой он это делал, можно было прочесть: «Что от вас, писателей, требовать? Темный вы народ!».

Четыре человека. Это все, что мог выставить наш курс. Остальное ополчение можно было вводить в бой лишь тогда, когда наступает авангард. Но авангард был почти посрамлен, и потому ополчение сейчас было готово сдать свои позиции и бежать без оглядки. И хотя четыре наших представителя все-таки был на том заветном берегу и стояли там еле живые, мы знали, что подвиг этих «челюскинцев» никому больше не по жилам.

Профессор взял стул, пересек свободную часть аудитории и подсел к окну, предварительно кинув свой пиджак на спинку стула. По-актерски отработанным движением он положил свои ноги на подоконник.

- Ну, кто еще? – спросил он у аудитории, к которой сидел сейчас спиной.

Аудитория молчала, как заминированная. Профессор с издевательским для нас наслаждением дышал холодной свежестью, затекавшей в аудиторию через форточку, словно показывая, что с этими литературными сосунками он и воздухом одним дышать не желает.

- Что ж, - сказал маэстро, - придется вызывать по списку...

И тут я понял, что пробил мой час. Нет, моя фамилия не в начале. Напротив – в самом конце алфавитного списка. Но в том-то и дело. Мне придется наблюдать всю эту

живодерню до самого ее финала. Никто даже не увидит, как я погибну. Но это не главное – мне душеприказчика не надо. Просто где взять такое терпение, чтоб все это вынести.

- Можно я! – вырвалось вдруг у меня. Я сам не ожидал этого от себя. Я даже оглянулся в надежде, что увижу того, кто это сказал. Но, прочитав ужас в глазах сокурсников, понял, что именно я выкрикнул эти роковые слова и мне держать за них ответ. Эрудицией я не отличался, а если что и знал, то это никакого отношения к кино и не имело.

Решительными, как мне показалось, шагами я пересек замершую аудиторию и сел перед столом, за которым должен был сидеть, но не сидел маэстро. Вся моя внешняя решительность была как бы изнанкой моей полной внутренней растерянности. Я не ведал того, что творю, потому и не переживал, что перепутаю последовательность своих действий. Профессор даже не повернул головы и продолжал сидеть спиной к аудитории. Однако по звуку моих шагов определив, что я сел за стол, маэстро крикнул:

- Зачетку – писатель!

Мне пришлось встать и пройти к профессору, который рассматривал свои топмановские туфли на фоне заледеневшего оконного стекла. Я подошел к спине знаменитого кинорежиссера и протянул ему через плечо зачетную книжку.

Вручив профессору свою зачетку, я с еще большей напускной уверенностью зашагал к своему месту.

Едва я сел за стол, как вдруг маэстро воскликнул: «О-о!». Это он прочитал мою фамилию в зачетке и обрадовался, как обжора, увидевший в меню любимое блюдо. Маэстро действительно с таким восклицанием произнес свое «о-о! », словно давно желал встречи именно со мной, но не ожидал, что это произойдет так скоро и так ко времени. Я не мог разделить восторга маэстро и молчал. Молчала и аудитория. Она была похожа на народ, согнанный смотреть жестокую и поучительную казнь.

Моя фамилия созвучна с некоторыми грузинскими фамилиями, и, конечно, прочитав ее в зачетке, маэстро решил, что я грузин. Продолжая смотреть во двор, с интонацией некоторой снисходительности, профессор сказал мне:

- Расскажите мне о вашем грузинском кино.

Говорить о том, что это не «наше» кино, а «их» кино, как и доказывать, что я абхаз, и что у нас, абхазов, нет своего кино, но мы сами еще есть и потому тоже хотели бы иметь свое кино – все это сейчас не годилось. Я не поддавался на провокации и молчал. Сами посудите, что может ответить абхаз, которому предложили рассказать о его грузинском кино.

Мое молчание было понято профессором как обычное студенческое желание услышать более конкретный вопрос.

- Расскажите о Шенгелая! - прозвучало уже требовательное предложение экзаменатора. А я вообще ничего не желал говорить профессорской спине, хотя и не знал, что скажу ему, если он повернется ко мне лицом. И все-таки я ждал, когда он, наконец, повернется. Пока профессор упрямо продолжал сидеть ко мне спиной, я вроде стал припоминать, что еще в раннем детстве видел один грузинский фильм, в котором играла красивая актриса Ариадна Шенгелая. Затем мне стало казаться, что среди грузинских кинематографистов есть еще один или даже двое Шенгелая, но открывать свои столь ничтожные познания я не собирался.

Профессор, наконец, обернулся и раздраженно спросил:

- Вы что, глухой?

Вот тут и началось светопреставление. Медленно поднимаясь с места и одновременно громко отодвигая стул своими выпрямляющимися ногами, неуместно вознеся над собой руки, я почти добродушно объявил:

- Дарагой, я у жьизни кино не видел!

Знаменитый кинорежиссер, за свою жизнь повидавший таких артистов, таких пройдох – и от кино и просто так с улицы – глядел остекленевшими глазами контуженого человека. Я, конечно, очень боялся, что придя в сознание, он легко поймает меня на любой едва заметной фальши. Профессор тряхнул головой, вроде стараясь стряхнуть с себя остатки беспамятства, снял ноги с подоконника, взял стул и сел за стол, глядя мне в глаза.

Основоположник отечественного кинематографа, прошедший со своим детищем славный путь от самого зарождения до его всемирного триумфа, совершенно уверенный в том, что его страна – это бушующий океан киноискусства, захлестнувший все пространство от Балтики до Курильских островов, от Северного моря до берегов Колхиды... вдруг на склоне лет, не где-нибудь – в столичном вузе (!) встречает молодого человека, который никогда не видел кино!

Маэстро тревожно присматривался ко мне: то ли прикидывал, как и при каком роковом стечении обстоятельств могло случиться, что кинообслуживание страны обошло этого кавказца и анализировал подлинность обнаруженного «экземпляра».

- Вы откуда?» - спросил профессор.

Я вновь стал неторопливо подниматься, с грохотом отодвигая стул ногами. Словно распахивая перед дорогим гостем ворота своего заоблачного края, сопровождая свои слова широким приглашающим жестом, я сказал:

- Из Верхни Сванети, дарагой!!!

Аудитория зарыдала со смеху. Это было странным весельем. Своеобразный пир во время чумы. Каждый здесь знал, что обречен, и в этом прощальном веселье как бы оплакивал и общую обреченность и свою собственную участь, отдавая последние силы неврастеническому припадку смеха. Но ни маэстро, ни я не слышали этого смеха. Наверно, точно так и гроссмейстеры, склонившиеся надо доской в решающем поединке за обладание шахматной короной, не видят и не слышат окружающего мира. Даже если маэстро слышал бы смех, он наверняка понял бы его иначе. Еще бы не смеяться. Ведь перед ним стоит гомосапиенс, никогда не видевший кино. Таким образом, смеющаяся аудитория не выдавала меня, а наоборот – помогала профессору утвердиться в подлинности моей дикости.

Вообще равнинные люди почему-то полагают, что чем выше над уровнем моря живет народ, тем очевидней его дикость. Горцы считают наоборот, что низкое местожительство обуславливает низменность, бездуховность обитателей равнины. Даже в нашем абхазском селе, половина которого находится в долине, а другая половина взбирается на предгорья – эта географическая междоусобица вспыхивает порой даже в кабинетах правления колхоза.

Разумеется, когда я говорил профессору, что происхожу из Верхней Сванетии, я рассчитывал на эту примитивную схему, получившую особое распространение во время шестидесятилетней Кавказской войны и после нее. Мифическая дикость горских народов оправдывала героев великой державы в их жестокой и бездарной (потому и шестидесятилетней) войне. Эта схема не поблекла и в наши дни, иначе не было бы смысла ею пользоваться.

Конечно, сказав Сванетия, я мог вовсе не говорить – Верхняя. Ведь и Нижняя Сванетия даже для Валдайской возвышенности – достаточно Верхняя. И все-таки слово «верхняя» являлось в этой ситуации той блесной, которую берет рыбак, идя на щуку (такая хищница и такая дуреха!).

- И что, вы никогда не видели кино? – спросил профессор в какой-то непонятной надежде.

- Нэ-эт, - говорю я ему, пуская в ход грохот стула и поднимаясь над столом. – Овца видел, пастбищ – видел... кино – не видел!

У профессора быстро захлопали веки. Было заметно, что он силится что-то предпринять. А мне уж не то чтоб боязно – я вроде привыкаю к этому, казалось, невыносимо тревожному состоянию. Получалось, что теперь я задал профессору задачу, а он ищет на нее спасительный ответ.

Краем глаза вдруг замечаю, как мой друг и земляк Сергей льет на парту слезы смеха, крупные, как виноградины. Мне стало тепло от того, что увидел земляка. Это все-таки

поддержка, это – опора. Хорошо, когда в такую минуту рядом с тобой оказывается земляк. Ведь даже случись несчастье, он знает, что делать, к кому обратиться, кому сообщить. И главное между земляками – это земля, кладбищенская или пахотная, все одно – ваше общее с ним отечество... Я вижу его слезы, но не слышу его смеха. Ведь мы с профессором взаимооглушены. Он меня оглушил страхом быть униженным. А я его оглушил тем, что никогда не видел кино. Вот и сидим друг против друга, как потерпевшие автоаварию, и палимся друг на друга, еще пребывая в глубоком шоке.

- Скажите, милый, что такое сценарий? – спросил меня профессор с почти заискивающей ласковостью, словно просил меня, чтоб я на минуту забыл о своей Верхней Сванетии и спустился к нему с заоблачной вершины Ушбы. Я понял, что моя блесна сработала, и шука стремительно стала смывать с барабана моего спиннинга первые метры лески. Никому такого легкого вопроса он не задавал и не задал бы.

Что такое сценарий я примерно представлял. Но как это выразить в словах?! Задумался. В поисках наиболее приемлемого ответа, видимо, так глубоко ушел в себя, что маэстро прочитал на моем лице муки пещерного человека, решившего вникнуть в основы кибернетики.

- Не надо! Не надо! - вскрикнул маэстро, словно предупреждал губительное перенапряжение моего примитивного мозга и как бы, извиняясь за столь непосильное задание.

- Скажите, милый, что такое пьеса?

Маэстро упростил вопрос, обнаруживая и педагогическую гибкость, и доброжелательное отношение к представителю заоблачной советской провинции.

Только сейчас я в ужасе представил себе, что мог выдать себя с головой, прилично ответив на вопрос о сценарии. Я сразу учел эту едва не случившуюся оплошность и решил сохранить головокружительную высоту необразованности в предстоящем ответе о пьесе. Ведь мой край в основном состоит из ландшафта высшей категории сложности для альпинистов.

- Пьеса, - начал я и заскрежетал своими мозгами, - это... понимаещ.. драма, дарагой... это камее... Я хотел сказать «комедия», но меня прервал профессор.

- Правильно! – восторженно воскликнул он и впервые за время нашего странного диалога посмотрел на аудиторию, словно приглашая ее разделить радость его педагогического успеха. «Мать честная, ну, наконец... вы ведь сами видели, чего я добился от него. Я, правда, подводил его к ответу, но ведь и он работал, вы сами видели!..»

Маэстро на некоторое время задержал на своем лице гримасу удовлетворения. Так дрессировщик, показав публике, номер с медведем, разрешает ей восторгаться его

мастерством и с деланным великодушием вкладывает в пасть дикому зверю заработанный кусочек сахара.

Профессор тут же раскрыл мою бордовую зачетку и торопливо расписался в ней, словно понимая, что здесь медлить нельзя. Просто есть необъяснимое ощущение важности таких исторических моментов, когда промедление, может сорвать какое-то важное дело.

- Молодой человек, запомните, пожалуйста, на всю жизнь, что сценарий ... это – пьеса для кино!

Теперь стало понятно, почему маэстро заменил вопрос о сценарии, на который я, по его разумению, наверняка не ответил бы, вопросом о пьесе. Уяснившему, что такое пьеса, уже легче объяснить, что такое сценарий. Маэстро чувствовал, что это один из лучших эпизодов его педагогической эпопеи.

«Сценарий – это пьеса для кино!» - громадным и немеркнущим кумачовым транспарантом то и дело возникает перед моими глазами по сей день. Но он меня не раздражает подобно многим глупым лозунгам, о которые спотыкаются мои глаза, когда я прохожу по райским бульварам родной Аквы.

Аудитория бушевала, но мы с профессором все еще сидели в звуконепроницаемом аквариуме нашего диалога. Я смотрел на свою зачетку и, томясь ожиданием, едва сдерживал себя, чтоб не выхватить ее из рук разомлевшего профессора.

Затем, видимо, представив, как нелегко придется жить человеку, настолько оторванному от цивилизации, он сокрушенно, понимая мою обреченность, сказал:

- Да, мне очень жаль, что вам так тяжело с языком.

Естественно, он имел в виду мой русский язык.

- Да, дарагой, - тут же поднялся я со своего места. – По-свански гаварю.., как умни гаварю. По-русски гаварю – как дурак гаварю.., - сказал я с действительно диким акцентом, но с таким достоинством, словно прочитал лучший афоризм из «Витязя в тигровой шкуре».

Уже некоторое время я чувствовал, что во мне начинается стремительное брожение микробов смеха и меня с каждым мгновением все нестерпимее распирает, как бочку с молодым бродящим вином. Я готов взорваться, уже трещат заклепки на моих ободках, а профессор не торопится. Смакует свой удачно прошедший эксперимент.

Наконец, он усталой рукой протягивает мне зачетку, я беру ее, не стараясь даже улыбнуться, потому что до боли зажал свой язык зубами, чтоб эта боль не дала мне лопнуть от смеха. Тут я вспомнил, как в детстве, чтоб дедушка не слышал, что мы погнали коз к реке, а не туда, куда нам было предписано, мы с соседскими ребятами затыкали их колокольцы папоротником и бесшумно спускались к крутым берегам Аалдзги.



Я постарался не бежать, а дойти до двери, что у меня вроде получилось. Но, едва оказавшись за дверью, я кинулся в конец коридора. Да я ведь не дышал, и мне нужно было вдохнуть хоть глоточек воздуха. И вот, уже на лестничной клетке, захлопнув за собой двери в коридор, я бросился на перила и, едва не переваливаясь в проем лестничной клетки, дал волю своему смеху. Разжималась пружина напряжения.

Выплакавшись, я вышел в вечернюю и зимнюю Москву и пошел по Тверскому бульвару. Со мной рядом шел задумчиво–ласковый и густой снег. Мне была приятна белизна его утомленности, она была созвучна мне, словно мы негромко в два голоса пели в блаженной согласованности старинную абазинскую песню. Я вдруг проникся нежностью к профессору, мне хотелось вернуться в институт и сказать ему: «Маэстро, вы великолепный постановщик!»

В общежитии я прилег на свою кровать и с глубокой тоской по покою решил расслабиться. Хотелось не думать ни о чем. Я засыпал или уже спал, когда вдруг услышал все нарастающий топот многочисленных ног в коридоре нашего этажа. Прежде, чем я успел сообразить, что это за грохот – дверь в мою комнату распахнулась и в нее с гиканьем вломились мои, почему-то счастливые, сокурсники. Перебивая друг друга, они говорили мне о чем–то, тискали меня, хлопали по плечу, затем стали подкидывать к потолку, еще более осложняя процесс моего возвращения к действительности.

Оказывается, как только я вышел из аудитории, маэстро безо всякого там опроса поставил всем студентам зачеты. Студенты были счастливы, чудо все–таки свершилось. И действительно, о каком опросе могла идти речь, когда профессор киноискусства поставил только что зачет человеку, который никогда не видел кино.

Однако приключения самого маэстро на этом не окончились. Смягчившись над студентами и поставив им зачеты, он в сопровождении старосты курса, который нес ему чемоданчик с киносценариями, спустился в учебную часть. Маэстро вошел в просторное помещение канцелярии, высоко держа в руке экзаменационную ведомость, как важное доказательство чего-то, и швырнул ее на диван, стоящий рядом со столом заведующей.

- Каких студентов вы принимаете! – завопил маэстро, словно разоблачая приемную комиссию литературного вуза в ее преступной деятельности.

Акустика просторного помещения учебной части еще некоторое время сохраняла вопль знаменитого кинорежиссера.

Заведующая наблюдала за профессором сквозь рассеивающийся папиросный дым, который постоянно окружал эту бывшую партизанку, и не могла понять, что происходит с профессором.

Прорвав блокаду дымовой завесы резким движением руки, с готовностью отвечать и за себя, и за институт, а если понадобится - и за весь Союз писателей, она спросила его:

- Ну, и каких?

- По-русски лыка не вяжут..., кино в жизни не видели..., где ж вы таких находите?!

До заведующей дошел—таки этот вопль профессорского отчаянья, и она даже призадумалась.

- А кто у нас есть такой? – спросила она и посмотрела на свою помощницу. Та в ответ пожала плечами.

- Из Верхней Сванетии, - сказал профессор с какой-то разоблачительной интонацией в голосе, - ну, как его... - он силился вспомнить мою фамилию.

- Из Сванетии у нас никого нет, - заявила заведующая, как человек, головой отвечающий за дела своей канцелярии. Ей утвердительно кивнула и помощница, на которую было возложено ведение личных дел студентов.

Профессору пришлось поднять брошенную и скомканную им ведомость и разглаживать ее на столе у заведующей. Самой заведующей это не понравилось, что было видно по выражению ее отстраненного от маэстро лица. Она еще яростней задыхалась, чтоб табачная завеса между ней и обзленным профессором была более непроглядной.

Едва профессор ткнул пальцем в мою фамилию и воспроизвел ее в едва узнаваемом виде – с заведующей случилось истерика. Она поперхнулась дымом, швырнула на пол так и недокуренную папиросу, встала из-за стола и буквально упала на диван. Она и плакала, и смеялась, и задыхалась – одновременно. И молодая помощница тоже хихикала, вроде соблюдая субординацию и не доходила до той кондиции, до которой позволено доходить заведующим. А знаменитый режиссер стоял посреди просторного помещения учебной части и вроде не понимал, почему он здесь находится и к чему этот странный смех.

Услышав от профессора легенду о студенте, не видевшем кино и не знающем русского языка, заведующая сначала вроде была готова частично принять профессорские претензии. У нас на курсе действительно был один восточно-кавказский литератор, который решительно не владел русским языком и был живой притчей. Но он учился у нас на отделении драматургии и, разумеется, бывал в театрах и в кинотеатрах своей республики. Обсуждали его пьесы в подстрочных переводах. Потому, когда профессор воспроизвел мою фамилию, хотя и в исковерканном виде, заведующей стало понятно, что маэстро жестоко обманут.

- А ... собственно говоря, чего Вам так весело? – спросил профессор недоуменно.

- Понимаете, - начала заведующая, утирая слезы, подобно капризной, но уже отходящей молодке, - отец этого студента, известный писатель, учился в свое время у нас

Высших Литературных курсах. Мы хорошо знаем эту семью, и в том, что этот студент видел кино, не может быть никаких сомнений. А что касается русского языка, то парень этот вообще пишет на русском и свои стихи, и свои рецензии. У него уже есть публикации. Кроме того, он абхаз, из Абхазии, и у них нет проблем с русским языком. Проблемы у них со своим, с абхазским языком, - завершила она свое объяснение, уже почти отдышавшись и запаливая новую папиросу.

Это невинное объяснение заведующей прозвучало для маэстро как вселенский набат, возвестивший миру о начале его конца. Маэстро стремительными шагами вышел из помещения учебной части, однако двор Литературного института он покидал довольно медленно, словно ему, как лирическому герою замечательного русского романа, уже некуда было спешить. Его сопровождал староста нашего курса, несший чемоданчик с киносценариями. Маэстро то и дело вдруг останавливался, почему-то под самыми лампами Тверского бульвара и, как в шоке, повторял одно и то же: «Вот этот абхаз меня...обманул». Вместо слова обманул маэстро пользоваться иным глаголом - нецензурным, зато более выразительным за счет простоты и натуральности.